

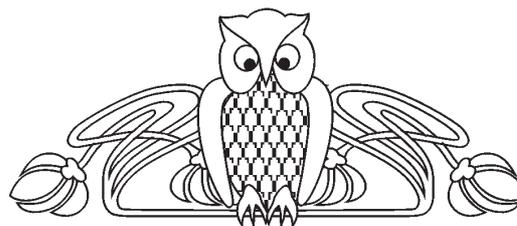


УДК 821.161.1.09+929Солженицын

«СТРАШНЫЕ» СЛОВА У СОЛЖЕНИЦЫНА

И. Е. Мелентьева

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва
E-mail: irinamelenteva@mail.ru



В статье идет речь о лексических предпочтениях Солженицына: о том, какие слова и почему он считал «невыносимыми». В отношении к слову у Солженицына выделяются эстетические (смысл, звук, цвет, запах) и этические (принадлежность к блатному или палаческому миру, русскость, возможность исхождения из уст Христа) аспекты.

Ключевые слова: Солженицын, слово, словарь.

Solzhenitsyn's «Awful» Words

I. E. Melentyeva

The article dwells on Solzhenitsyn's lexical preferences, on what words he considered «unbearable» and why. In Solzhenitsyn's attitude to the word aesthetic aspects (meaning, sound, color, smell) and ethic ones (belonging to the rogue or slaughterer world, being Russian, a possibility of coming from Christ's lips) can be singled out.

Key words: Solzhenitsyn, word, dictionary.

В Париже 10 апреля 1975 г. на пресс-конференции, которая передавалась в прямом эфире и затянулась на много лишних минут, известный французский журналист Бернар Пиво спросил у А. И. Солженицына: «...какое слово в русском языке вам дороже всего? Какое слово – мир? счастье? Бог? свобода?»¹. Солженицын ответил: «...я думаю, что писателю задавать такого вопроса нельзя. Вся моя жизнь проходит среди слов, и когда мне удаётся минуту дохнуть свежим воздухом, то я беру выписки из русских словарей и перебираю эти слова как драгоценности, и каждое кажется мне таким прекрасным, что не хочется от него... До свидания, до свидания!»². Закончившееся эфирное время не позволило Солженицыну завершить свой ответ, но можем обратиться к драгоценным выпискам из русских словарей, сочным и полновесным словам гениев русской литературы, собранных писателем в «Русский словарь языкового расширения» (1988).

Однако в статье речь пойдет о тех словах, которые Солженицын не любил, называя их «страшными», «гадкими», «мерзкими», «смердными». Образно говоря, эти слова находятся на противоположном полюсе по отношению к лексике «Русского словаря языкового расширения».

Характеристика ««страшное» слово» встречается в двучастном рассказе «Эго» (1995). Солженицын пишет о большевиках: «...ещё существовал и *начпогуб* Вейднер... это страшное слово значило: начальник политического отдела губернии»³. Писателя и персонажей ужасает, что это сокраще-

ние вполне можно расшифровать как *начальник* (или *начало*) *погубления*. Губительность является смысловым центром и в другом «страшном» слове уже из «Архипелага ГУЛАГ»: «...гибельное слово – *Секирка*. Это значит – Секирная гора» (5, 33). На Секирной горе в Соловецком лагере «в двухэтажном соборе... устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены до стены укреплены жерди толщиной в руку, и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. <...> Высота жерди такова, что ногами до земли не достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант – как бы удержаться. Если же свалится – надзиратели подсакивают и бьют его. Либо: выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к *балану* (бревну) для тяжести – и вдоль ступеней (ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже)» (5, 33). Не менее страшным кажется автору «Архипелага ГУЛАГ» и наименование «Центральный Карательный Отдел (а названьице-то! по коже пробирает)» (5, 19). Страшно, когда можно людей гнать на работу, как скот, «длинными палками, дрынами», и появляется «даже глагол уже всем понятный: *дрыновать*» (5, 33). А вот еще пример из «Архипелага ГУЛАГ», когда от страшного бесчеловечного явления рождается новое бесчеловечное страшное слово: «...сани и телегу тянут не лошади, а люди (по несколько в одной) – и тоже есть слово *вридло* (временно исполняющий должность лошади)» (5, 33). И слышится в этом «вридло» и вред, и зло, и подлость.

Чтобы отразить ужас эпохи ГУЛАГа, Солженицыну не обязательно назвать, выписать и объяснить все «страшные» слова, писатель как всегда экономен в художественных средствах. Для плотного изображения страшного времени и языка этого времени используются тщательно отобранные сгущенные слова подобно тому, как с помощью Узлов конструируется эпопея «Красное Колесо». «Я придумал концентрировать, создать УЗЛЫ...», – пишет Солженицын о сути композиционной работы над повествованием в отмеренных сроках. – В кривой истории, то есть в смысле математическом кривая линия истории, – есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки – как Узлы, – я их подаю в большой плотности...»⁴ Таким же об-



разом с помощью узловых точек «страшных» слов рисуется и линия «страшного» языка.

Роль Узла, в котором в свернутом виде представлена эпоха ГУЛАГа, играет и слово «роман». Когда Солженицын в очерках литературной жизни «Бодался телёнок с дубом» рассуждает об эпических жанрах, то не может удержаться от того, чтобы не сделать примечания: «А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?)»⁵. На первый взгляд, непонятно, почему вполне благозвучное слово вызывает такую сильную негативно-уничтожающую реакцию писателя. Однако в корпусе текстов Солженицына можно найти объяснение и этому. Так, в «Архипелаге ГУЛАГ» читаем в пояснительном авторском словаре «Некоторые тюремно-лагерные термины»: «**тискать роман** – (*блатн.*) рассказывать в камере авантюрно-любовную историю» (6, 506). А в самом тексте опыта художественного исследования находим более развернутую характеристику этого слова. «Увидеть блатаря с газетой, – пишет Солженицын, – совершенно невозможно, блатными твёрдо установлено, что политика – щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг блатные тоже не читают, очень редко. Но они любят литературу устную, и тот рассказчик, который после отбоя им бесконечно *тискает романы*, всегда будет сыт от их добычи и в почёте, как все сказочники и певцы у примитивных народов. Романы эти – фантастическое и довольно однообразное смешение дешёвой бульварщины из великосветской (обязательно великосветской) жизни, где мелькают титулы виконтов, графов, маркизов, – с собственными блатными легендами, самовозвеличиванием, блатным жаргоном и блатными представлениями о роскошной жизни, которой герой всегда в конце добивается: графиня ложится в его “койку”, курит он только “Казбек”, имеет “луковицу” (часы), а его “прохоря” (ботинки) начищены до блеска» (5, 353). Таким образом, от вроде бы нейтрального слова отворачивает Солженицына связь данной лексической единицы с блатным миром и особыми блатными представлениями о прекрасном. В этом заключается специфичность видения слова Солженицыным. Однако, несмотря на то, что слово «роман» у писателя вызывало отторжение, он все равно использовал его для обозначения жанра (кстати, и в «Бодался телёнок с дубом» Солженицын, говоря о современном романе, употребляет это слово уже без негативных комментариев).

Еще несколько узловых слов – «Органы», «вагон-зак», «сексот», «тюряк» – образуют линию гадкого и мерзкого палаческого языка. Слово-сочетание «органы внутренних дел», лишившись последних двух слов, превратилось в «Органы». «Этим гадким словом они называли сами себя» (4, 41), – замечает Солженицын. Писателя всегда поражали бессознательная саморазоблачительность власти, которая «окрепала» сама себя «достойными кличками» (1, 273), и неспособность создате-

лей новых советских слов и понятий прислушаться к собственному языку. «“Вагон-зак” – какое мерзкое сокращение! – восклицает Солженицын. – Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами» (4, 436). О неестественности палаческого языка, несродности живому великорусскому языку говорит то, что слово «вагон-зак» «нигде, кроме тюремных бумаг... не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон “стольпинским” или просто “стольпиным”» (4, 436). Солженицын показывает, как в русском языке, не терпящем над собой насилия, происходит борьба с чужеродными лексическими элементами.

Слово «сексот» рассматривается писателем в пяти измерениях. Первые три вполне традиционны: значение, написание, звучание, однако Солженицын добавляет к ним еще два: запах и цвет, которые равно отвратительны. О тех, кого называли «сексотами», Солженицын пишет, что поначалу «они названы были по-деловому: секретные сотрудники (в отличие от штатных, открытых). В манере тех лет это сократилось – *сексоты*, и так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово (не предполагая, что оно так распространится, – не уберегли) – не имел дара воспринимать его непредвзятым слухом и в одном только звучании услышать то омерзительное, что в нём сплелось, – нечто более даже постыдное, чем содомский грех. А ещё с годами оно налилось желтовато-бурой кровью предательства – и не стало в русском языке слова гаже» (5, 282). Несмотря на искусственность, слово распространилось в языке, чему способствовала образовавшаяся при уродливом сокращении аура неожиданных смыслов и парадоксально проявившаяся оценка явления. В советское время это слово бытовало как ругательство.

Оппозицию советскому палаческому языку Солженицын находит в дореволюционной тюремной лексике. Например, его восхищает слово «острог», этим пассажем открывается глава «Архипелага ГУЛАГ» под названием «Тюряк»: «Ах, доброе русское слово – *острог* – и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, – сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках – и строгость, и острога, и острога (ежовая острога, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже мятель в глаза, острога затёсаных колеи предзонника и опять же проволоки колючей острога), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, – а *рог*? Да рог прямо торчит, выпирает! Прямо в нас и наставлен!» (4, 410). Все то, что до революции называлось острогом, в советское время стало обозначаться невыразительным словом «тюряк» (*тюремное заключение*). В данном случае Солженицын, пусть даже иронически, выступает против оскудения языка «по холостящему советскому обычаю», ведь «лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств»⁶.



Показательна в данном контексте и история именования заключенных. Солженицын показывает, как живая стихия русского языка преобразует мертвое, «казённо рождённое» «з/к», наделяет его склонением и превращает аббревиатуру в удержавшееся слово «зэк». «До 1934 года официальный термин был *лишённые свободы*. Сокращалось это “л/с”, и осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как “элэсов” – свидетельств не сохранилось, – пишет Солженицын в главе «Зэки как нация». – Но с 1934 года термин сменили на «заключённые» (вспомним, что Архипелаг уже начинал каменеть, и даже официальный язык приспособлялся, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше *свободы*, чем тюрьмы). Сокращённо стали писать: для единственного числа “з/к” (зэ-ка), для множественного – “з/к з/к” (зэ-ка зэ-ка). Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкали. Однако казённо рождённое слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитём мёртвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышлёных туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях стали его по-разному к себе переиначивать...» (5, 405–406).

Любопытно проследить за особенностями употребления Солженицыным слова «туфта», которое встречается в его текстах в двойном написании с буквами «ф» или «х» посередине. «Меня корят, – пишет он, – что надо писать туфта, как правильно по-воровски, а тухта есть крестьянское переиначивание, как Хвёдор. Но это мне и мило: тухта сроднено с русским языком, а туфта совсем чужое, принесли воры, а обучили весь русский народ. Так пусть будет тухта» (5, 58), – читаем в «Архипелаге ГУЛАГ». Использование «х» или «ф» позволяет разделить голос автора, сродненно-го с русским языком, от голоса палачески-блатного языка. Например: «“*Туфта* – *опаснейшее орудие контрреволюции*” (а тухтят блатные больше всех: уж лёд засыпать в ряжи – узнаю, это их затея!). Ещё лозунг: “Туфтах – классовый враг!” – и поручается ворами идти разоблачать тухту, контролировать сдачу каэровских бригад!» и т. п. (5, 78). Этот фрагмент комментируется Солженицыным: «Подчиняюсь “ф” лишь потому, что цитирую» (5, 78). Однако в авторской речи писатель противится блатному произношению и таким образом не подчиняется ценностным установкам блатного мира.

Еще следует сказать о линии узловых топонимов: Свердловск, улица Горького, Петербург. Известно восклицание Солженицына о говорящих фамилиях – гулаговских тюремщиков: «...как будто по фамилиям их на работу берут!» (4, 148). А далее перечисляются с указанием должностей Трутнев, Шкуркин, Баландин, Скорохватов, Волкопялов, Грабищенко... И риторический вопрос: «Совсем ли ничего не отражается в людских фамилиях и таком сгущении их?» (4, 148). Вот

и Свердловск с характеристикой «не хочется это грязное название и писать»⁷ – типичное порождение гулаговского мышления. Город, названный грязным именем палача, и сгущение подобных грязных палаческих названий городов не делают ли атмосферу жизни еще более затхлою?

С улицей Горького ситуация несколько иная: само явление жизни так безнадежно потеряло себя, что стало недостойно своего истинного названия: «...я вышел в солнечный день на улицу Горького (так испорченную, что уже и не хочется называть её Тверской)...»⁸ То есть Тверская улица настолько искажена, что вполне соответствует своему новому названию (а о своем отношении к Горькому Солженицын достаточно написал в «Архипелаге ГУЛАГ» и «Бодался телёнок с дубом»).

Размышления писателя о должном имени для тогдашнего Ленинграда мы находим еще в начале 1950-х гг. В пьесе «Пленники» (1952–1953), написанной в лагере и ссылке, Настенька спрашивает поручика Русской освободительной армии (бывшего лейтенанта Красной армии) Болоснина: «Вы откуда сами, Игорь Дмитриевич?» Герой отвечает: «Я – уроженец и обитатель города, который так люблю, что затрудняюсь назвать достойно. Санкт-? – уже потеряно давно, да и город этот заведомо не от апостола, уже видно. Петербург? – по-немецки. Петроград? – не вижу права на честь за то, что “вздёрнул на дыбы”... И не Пушкина это город, и не Достоевского, и нет единого имени, которое покрывало бы его сполна. Сам с собой я теперь зову его <...> Невгород. <...> И потом совершенно точно. Второго большого города на Неве нет». И это Настенькой принимается очень естественно: «Невгород? Напоминает... Новгород? И очень по-русски звучит. Знаете, эти ароматнейшие русские слова с ударением на приставке: невпору, припорох, излюба»⁹. Показательно, что слово Ленинград совершенно опускается и не упоминается в тексте. Также проблеме переименования Ленинграда Солженицыным посвящено обращение 1991 г. «К жителям города на Неве», где писатель пытается воздействовать на общественное мнение и объяснить, что название «Санкт-Петербург» «было в XVIII веке навязано вопреки русскому языку и русскому сознанию» и что «э т о г о звучания возвращать не надо». Писатель считал, что «переименование в 1914 г. в “Петроград” было вполне разумным, и оно верно, если считать город названным в честь императора. (Если же хотеть сохранить, как исторически было, в честь Апостола Петра, – то естественная русская форма: Свято-Петроград.)»¹⁰. И хотя писатель не был услышан властями, но корреспонденция, отправленная Солженицыным «в Петроград», доходила туда, куда следует, о чем свидетельствует один из его адресатов Михаил Кураев: «В декабре 1997 года я получил письмо от А. И. Солженицына. Его рукой на конверте был написан адрес: “Петроград”, дальше проспект, номер дома и т. д. Письмо дошло без задержек»¹¹.



В ряду негативно маркированных слов в текстах Солженицына можно найти и совершенно неожиданное, не относящееся ни к блатной жизни, ни к палаческому языку – «юрисдикция». В 1974 г., обращаясь по просьбе митрополита Филарета к Третьему Собору Зарубежной Русской Православной Церкви, Солженицын писал: «Так много ступеней нас ждёт – в высоту братства и любви, а мы и на самой низшей застигнуты в непонятном раздроблении – не веры, не оттенков веры или хотя бы обряда, но каких-то *юрисдикций* – мерзкое слово, которого не только не слышали мы из уст Христа, но представить нельзя на страницах священных книг»¹². В комментариях к первому тому публицистики Н. Д. Солженицына поясняет, что «после атмосферы гонений Церкви и стойкости верующих на родине – у писателя вызывал стойкое недоумение юрисдикционный раскол церквей в русской эмиграции. Это и стало главным тоном письма»¹³. Здесь писатель ужасается и тому, что внесён разлад в церковные дела, и тому, что для обозначения болевых точек церковной жизни у людей, располагающим всем богатством русского и церковнославянского языков, не находится более адекватного слова, чем иностранное – юрисдикция. В «Объяснении» к «Русскому словарю языкового расширения» Солженицын, говоря об угрозе оскудения русского языка, предупреждает о бездумном приятии иноязычных слов: «Но нельзя упустить здесь и других опасностей языку, например, современного нахлына международной английской волны. Конечно, нечего и пытаться избегать таких слов, как компьютер, лазер, ксерокс, названий технических устройств. Но если беспрепятственно допускать в русский язык такие невыносимые слова, как “уик-энд”, “брифинг”, “истеблишмент” и даже “истеблишментский” (верхоуставный? верхоуправный?), “имидж” – то надо вообще с родным языком распрощаться»¹⁴.

Изучение особенностей солженицынского словоупотребления позволяет лучше понять не только яркость и выразительность его стиля, но и уточнить отношение писателя к слову. Полновесным словам, из «коренной струи языка»¹⁵ Солженицын противопоставляет дурно пахнущие мертвые, безобразные и плоские выражения палаческого и блатного мира, в котором бесчеловечность действующих лиц проявляется в бесчеловечности их языка. От «страшных», «гадких», «мерзких» слов страшно, гадко, мерзко становится и персонажам, и читателю, и самому писателю. Эта лексика могла бы составить своеобразный «антисловарь» языка Солженицына, в котором негативно маркированные слова становятся мощным подспорьем

в обрисовке ужасающего мира ГУЛАГа. Через «страшное» слово-Узел, как через увеличительное стекло, яснее становится характеристика эпохи. Солженицын призывает к сбережению русского языка, с болью отзывается о его порче в «свободной» литературе третьей волны эмиграции: «На каком всё это написано языке? Хотя сия литература и назвала сама себя “русскоязычной”, но она пишет не на собственно русском языке, а на жаргоне, это смрадно звучит. *Языку-то русскому они прежде всего и изменили*»¹⁶.

Примечания

- ¹ Солженицын А. Пресс-конференция в Париже (10 апреля 1975) // Солженицын А. Публицистика : в 3 т. Т. 2. Ярославль, 1996. С. 281.
- ² Там же.
- ³ Солженицын А. Собр. соч. : в 30 т. Т. 1. Рассказы и Крохотки. М., 2006. С. 273. В дальнейшем при цитировании данного издания в скобках указываются том и страница ; сохранены авторская орфография и пунктуация.
- ⁴ Солженицын А. Телеинтервью на литературные темы с Н. А. Струве (Париж, март 1976) // Солженицын А. Публицистика. Т. 2. С. 432.
- ⁵ Солженицын А. Бодался телёнок с дубом : Очерки литературной жизни. М., 1996. С. 28.
- ⁶ Русский словарь языкового расширения / сост. А. И. Солженицын. М., 1995. С. 3.
- ⁷ Солженицын А. Бодался телёнок с дубом : Очерки литературной жизни. С. 297–298.
- ⁸ Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // Новый мир. 1991. № 8. С. 38.
- ⁹ Солженицын А. Пьесы и киносценарии. Париж, 1981. С. 184.
- ¹⁰ Солженицын А. К жителям города на Неве (28 апреля 1991 г.) // Солженицын А. И. Публицистика. Т. 3. Ярославль, 1997. С. 351.
- ¹¹ Кураев М. Солженицын и мы // Путь Солженицына в контексте Большого Времени : Сборник памяти : 1918–2008 / сост., подгот. текста и общ. ред. Л. И. Сараскиной. М., 2009. С. 357.
- ¹² Солженицын А. Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви // Солженицын А. Публицистика. Т. 1. Ярославль, 1995. С. 211.
- ¹³ Солженицын Н. Краткие пояснения // Солженицын А. Публицистика. Т. 1. С. 707.
- ¹⁴ Русский словарь языкового расширения. С. 3.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ Солженицын А. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов : Очерки изгнания // Новый мир. 2000. № 9. С. 128–129.